

Э то теперь, после смерти, мой школьный друг Саша Сопровский — известный поэт и самобытный философ. А тогда мы сидели с ним за одной партией, но нас одновременно разлучили, поскольку мы все время разговаривали. С последней парты Сопровский присылал мне не только решенные задачи по алгебре, но и стихи. То и дело чередовались три поэта: Пастернак, Сопровский и Ким. Куплеты из кимовских песен он комментировал, иногда дописывал. То и другое всегда было ужасно смешно. Несколько крупно выведенных в дневнике двоек по поведению целиком на совести Кима.

В университет на филфак мы тоже поступили вместе: мы с Сашей и Ким. Вместо алгебры и физики на Сопровского навалилась латынь — я ее ненавидела, он трудился за меня. В памяти цепко держится картина: мы с преподавательницей латыни вдвоем сидим в аудитории и выясняем отношения. Сопровский стоит за дверью и скрипит зубами — долго, а у нас билеты в кино. Вдруг дверь открывается, и он — с порога:

Красотки, вот и мы, кавалергарды! Наши палашы! Чудо хороши! Ужасны мы в бою, как леопарды... Меня выгнали. Все остальное забылось, в том числе и проклятые спржения глаголов, а это осталось. Осталась и физиономия Сашки, который кричит, отбиваясь от моих обвинений: "Все корейцы — члены партии, и все выращивают лук..."

И вот Юлий Ким открывает мне дверь. Я робею. Коротко совещаемся, запирает ли собаку — не то она меня съест и обладает интервью. Запираем. В комнате только книги, фотографии, картины и цветы. Очкарик несчастный. Вместо первого очень интеллектуального вопроса из меня вдруг выпрыгивает:

— **Вы москвич?**
— Я совершенно московский человек, родился в Капельском переулке, но не успел я родиться, как родителей моих арестовали. Отец — кореец, работал в издательстве "Иностранный рабочий", а мама совсем русская, она учительницей работала, преподавала литературу и русский. Потом меня взяли дед с бабкой. И вышло, что я только первый год был москвичом, — потом жил у деда в Нарофоминске, потом в Люберцах, а потом вернулась мама. Отца расстреляли сразу, а ей дали лагерь и ссылку. Когда мама вернулась, мне было десять лет. Жилось голодно, но весело — мы жили под Калугой, мама работала в школе, и вокруг было очень много умных и настрадавшихся людей. В школе было очень хорошо, много кружков, музыки, вечеров и танцев, чего я там только ни делал — и пел, и стихи читал... А в 1949 году случился массовый повтор репрессий. Мама новый срок не получила, но преподавать ей запретили. Когда она пошла работать в швейный цех ученицей бухгалтер, началась жизнь голодная и невеселая.

А потом мама завербовалась на работу — строить главный Туркменский канал, и мы поехали туда, чтобы не пропасть с голоду. Школу я закончил в Ташаузе. А потом вернулся в Москву, и поскольку началась реабилитация, я получил комнату. В двадцать два года опять стал москвичом. Калужско-люберецкий иностранец в промежутке.

"Ученик учил уроки, у него в чернилах щеки"

— Где же вы учились?
— В пединституте, на литфаке, там же, где в свое время училась мама. После института я три года работал на Камчатке — по распределению, учителем в школе. Вернувшись в Москву, я стал думать, где продолжить свою педагогию. И сначала я самым глупым образом пошел в ближайшие школы, но нигде словесники не требовались. Тогда я пожаловался на это дело своему старинному другу, известному теперь поэту Юрию Яценцеву. Он говорит: "Старик, подожди". Оказалось, напротив него на лестничной площадке живет директор 135-й школы. И ей нужен словесник. Я приехал к нему, познакомился с Ниной Георгиевной и таким образом оказался в школе в тот самый момент, когда оттуда ушел Александр Аронов. Собственно, меня и назначили на его место. Я пришел туда и попал в атмосферу его пребывания. Он оставил по себе самые лучшие воспоминания. Он не мучил своих учеников заданиями, сочинениями, грамматикой, он читал им лекции и главным образом стихи, которых знал прорву. Он читал их так вдохновенно и замечательно, как я уже никогда не мог прочесть. Тем более наизусть в таком количестве я столько не знаю. А я уже стал требовать с них запятые и тире. Они до сих пор ставят их в письмах, которые мне пишут.

— **Вам нравилось работать в школе?**
— Да-а! Я был хороший учитель. Работал в старших, кстати, классах. Один, самый первый год, у меня был пятый класс, и это был кошмар. Я не знал, что с ними делать. А уже с 7-го класса у меня был полный контакт с ребятами.

А в 68-м году меня вытурили за диссидентство.

— **Но вы ведь все равно ушли бы, потому что появились другие планы, так ведь?**

— Ну да, только я планировал уйти в 69-м году. Почему, да потому, что у меня был девятый класс, который я собирался довести до выпуска, и уж потом решить все окончательно. Уже пора было выбирать. Ну так вот, не было счастья, да несчастье помогло. И я ушел из школы.

— **Куда?**
— К тому времени меня уже стали звать в кино и театр, я просто вынужден был этому отдаться. И это осталось единственным моим занятием, я стал работать по договорам, то есть стал свободным художником. Случилось это в 68-м году, и это хорошо.

— **А с чем вы пришли в театр и кино?**
— Это дорожка относительно постепенная. Но всему виной песни. Я начал сочинять их в институте, продолжил на Камчатке, сочинял даже какие-то песенные композиции, диалоги и разговоры для всякого рода самодельных спектаклей, капустников и так далее.

— **Но это было исключительно для домашнего употребления?**

— Да-да! Для школьной и клубной сцены. И на Камчатке, и в Москве тоже, потому что последняя моя школа была при МГУ на Ленинских горах. И в клубе МГУ мы очень хорошо попллсали с моими подопечными. Собственно, выходил, что в сторону театра я стремительно двигался с помощью школы. Я постоянно писал всякие хоры, монологи, дуэты и прочее, а тем временем возникла всемирная, ну и все-союзная магнитофонная связь. И все барды так магнитофонами и разноможились. И я тоже размножился. И вот некоторые мои песни достигли разного рода профессионалов. Таким образом, без усталости сочиняя песни для друзей и школы, я стал более или менее известен.

В 1965 году меня позвали на Ленфильм, потом была картина Элема Климова "Похождение зубного врача", в 1966 году была просто новелла обо мне в фильме "Семь нот в тишине". В 1968 году меня пригласили на Малую Бронную поработать в спектакле. Что за спектакль? Сразу был Шекспир. Петр Фоменко ставил "Как вам это понравится?" и пригласил меня посочинять туда песни. В следующем году саратовский ТЮЗ поставил "Недоросля", я туда тоже сочинил песни. Так оно и пошло.

Какой-то Михайлов

— **А когда вы заболели диссидентством?**

— Как и все, приблизительно в 65-м году. Уже при Хрущеве возникли признаки диссидентства, а в 65-м взяли Даниила с Синяевским, в 66-м их судили, в 67-м взяли тех, кто требовал их свободы, в 68-м судили тех, кто

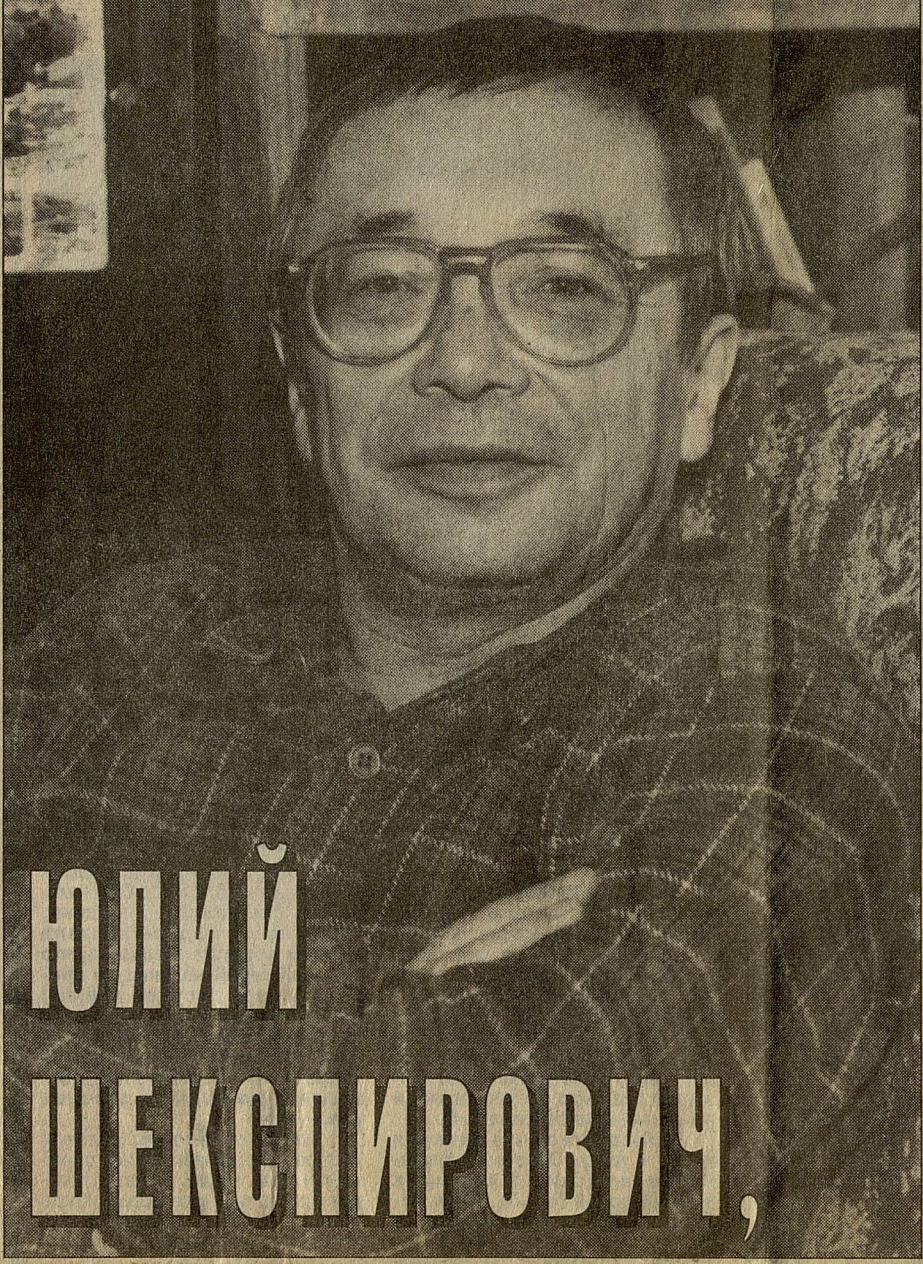
написал об этом суде книгу, ну и вот: арест — процесс — протест, и снова арест — процесс — протест... А тогда вообще был общинтеллигентский шум, когда наша общественность очень активно выступала с письмами и заявлениями; началась переписка с властями. Но когда власти стали однообразны в своих ответах, стали переписываться с международной общественностью. Я во всем этом по мере сил участвовал, и, конечно, меня в рядах учителей терпеть не могли. Правда, случилось все это в 68-м году, еще до чешских событий, но — вытурили, вытурили. В феврале я подписал одно письмо, которое подписали еще несколько человек, и меня терпели, а в марте было написано сравнительно небольшое письмо — но уже в Будапешт. Все остальные адресовались нашим властям или какой-нибудь своей общественности, но так вот, за рубеж, — это была, по-моему, одна из первых таких "коллективных". И письмо сыграло какую-то роль, до сих пор мне неизвестную. В Будапеште было международное совещание коммунистических и рабочих партий, и там у нас были сложные отношения с кубинскими и, кажется, испанскими коммунистами. Те воспылали этим письмом, и власти осерднели страшно. Хотя накануне я подписал гораздо более резкое письмо, но оно было домашнее. А тут они страшно осерднели. Впрочем, я думаю, и за домашнее меня бы выгнали все равно. В будапештском письме было 12 подписей — генерал Григоренко, крымские татары, Якир, Габай... И

Евгений Васильевич Бонапарт

— Читая наполеоновскую прозу Окуджавы, я постоянно хотела задать ему один важный вопрос, потому что он сам то и дело возвращается к нему. По-мне, вы с Булатом Шаловичем — родственники, да к тому же вы наполеоновский цикл песен в своем роде тоже кружит мою голову — так что вопрос достается вам. Как вы считаете, становятся ли люди с течением исторического времени хуже? Вы ведь и сами свидетель смены по крайней мере двух эпох...

— Мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что для этого нужно достаточно хорошо представлять тип человека тогдашнего и сегодняшнего. Конечно, что-то безусловно меняется... Если верить нашим романистам и взять, скажем, Евгения Васильевича Базарова... Хотя легко представить себе тип и в нашей жизни, переключаясь с ним. Но у нынешнего не будет уже некоторой прямолинейной наивности, которая отличала Евгения Васильевича, — я говорю не о личных качествах, а о типических...

— **Хорошо, поговорим о временах к**



Юлий Шекспирович Очкарик с рогаткой

Моск. колесо-мелюз. — 1996. — 12 окт. — с.2.

мы стали преступниками.

— **А когда же наступил момент, когда вас "не стало"?**

— А меня все время было. В 1969 году я взял себе псевдоним Михайлов, под этим псевдонимом работал 16 лет. Но все, что сталкивался с этим, все знали Кима, потому что Ким был известен по магнитофонным записям. По обилию магнитофонных записей — уже тогда у меня была сотня или даже больше песен, которые были широко известны. И во всех моих новых выступлениях как автора песен "Бумбараша", текстов песен "Двенадцати стульев" — меня легко угадывали. Так что это был секрет Полишинеля. В "Бумбараше" я был уже Михайлов. И только следующим поколениям публики, скажем, восьмидесятиникам, которые еще смотрели эти фильмы не без удовольствия, уже было кое-что неясно, среди них Михайлов и Ким как-то разошлись. Я встречался с людьми, им сейчас лет тридцать, которые мне говорили: так разве вы Михайлов?

Я никогда некуда не исчезал. В этом смысле я был всегда и никогда не испытывал ощущения, что я забыт.

— **Сдается мне, что у многих людей постоянно было чувство, что вам окопы цензуры чуть ли не на пользу пошли, что вы были вынуждены в игре искать особые пути, чтобы высказаться...**

— Нет-нет, азарт в этом, конечно, был, но я обходил это легко, вот в чем, видимо, дело. Получалось, все равно получалось и в обход цензуры.

Вот я вам сейчас приведу живой пример. Работал я в фильме "Вакансия" по "Доходному месту" Островского. Там тоже можно было хорошо высказаться — идет спор между циничным взяточником и идеалистом-романтиком, оттуда пошли строчки: "Идеи, убеждения — да это все слова, имеешь положение, имеешь и права".

Все совершенно про нашу партократию. Это цензура почувствовала и потребовала все строчки заменить. Пришлось написать хуже. Таких случаев было всего два — этот и еще в "Двенадцати стульях". Там мадам Грицацуева в исполнении Федосеевой-Шукшиной на своей свадьбе пела этакое залихватское шимми. И между делом там были такие строчки: "Раньше всем крестьянам и рабочим очень было плохо между прочим, а теперь мы делаем, что хотим, — день и ночь".

Это тоже потребовалось заменить — но это и все.

Да, еще был смешной случай. В "Королех и капусте" есть такая песня "Куда ты скачешь, мальчик?", а кончается она так: "поеду понемногу куда-нибудь туда".

Вот эту последнюю строчку потребовали заменить, потому что это "туда" цензуры понимали однозначно. Я переставил: "поеду понемногу туда куда-нибудь". Подошло. Вот какие были замечательные игры (смеется).

Но в общем, конечно, удалось, несмотря на цензуру, высказаться достаточно открыто.

нам близким...

— Восемь лет тому в беседе с кем-то я сказал, что вот-вот должен появиться новый тип русского человека. В связи с новыми неслыханными перспективами должно произойти то же самое, что произошло в прошлом веке, когда Тургенев уловил вот этот тип разночинной интеллигенции и вывел своего Базарова, этот тип мироощущения, самочувствия и прочее. То же должно произойти и сейчас, и происходит, но я еще не могу поймать родовых черт. Возникло совершенно новое явление, которое называется "новый русский". (Я говорю не о герое новых анекдотов, заменившем чучу.) Но утверждать, что это типичный интеллигент, я пока не могу. Однако, безусловно, это какой-то предтеча, предвестник.

— **Заговорив о "новых русских", мы неизбежно приблизились и к "новому языку". Скажите, есть ли у вас особое ощущение в связи с русским языком, который терпит какие-то странные превращения?**

— Я думаю, что эти превращения связаны с неслыханным напором новых событий, совершенно немислимых раньше. Русский язык перенес огромный изменения еще раньше, в советскую эпоху, а сейчас новейшая эпоха тоже навалила на него груз, уж сколько там всяких консенсусов и подвигжек... но что ж делать? Ведь море новейших понятий требует немедленного словесного оформления, а в русском языке готовых не появилось, и приходится, что называется, тырить со всех сторон. Ну не нашел я, например, в русском языке аналога слову "презентация". Есть слово "представление" — театральное, воображаемое — все близкое, но не то. А слово "презентация" уже готовое в некотором русском оформлении. Язык просто не справляется, вот и все. Я знаю, что в Израиле есть такая академия, которая занимается тем, что выискивает в иврите какие-то корни и слова для обозначения новых понятий, — и находит. Они вживаются и как-то быстро усваиваются народом. Кондиционер у них там называется мозган (смеется). Нашли мозган какой-то...

— **Значит, превращениями русского языка вы не потрясены?**

— Нет, решительно нет. Язык все утрачивает в конечном итоге. Он управится с этими словами. Вот, например, есть такой знаменитый глагол "довлеть". И вот огромное количество вполне интеллигентных людей употребляет его в форме немислимой — довлеет над, хотя этот глагол требует дательного падежа. И только у Нагибина я встречал довольно свободное употребление этого глагола, как и должно быть. Но больше нигде. И вот теперь я не знаю, узаконит русский язык это дело или нет. Пока я воспринимаю это с брезгливостью академика. А с другой стороны, видите, "блага" говорит полно народу, а язык не узаконил. Или — вопреки чего, благодаря чего, согласно чего. Ужас какой-то. Слышится повсюду и повсеместно — а язык не узаконил, нет. Все-таки, когда это раздается, ощущается как огрех. Он же живой, язык.

— **Юлий Черсанович, мы с вами гово-**

рили о диссидентстве, о правозащитниках, и я не могу не упомянуть Сергея Адамовича Ковалева. Дело в том, что в разгар чеченской войны многие, лично мне вполне симпатичные люди, резко отрицательно отнеслись ко всему, что им было предпринято. Поскольку это не частность, хотелось бы узнать ваше мнение.

— Сергей Адамович один из хрустальных людей, ничем СОВЕРШЕННО (такими большими буквами стараюсь передать выражение, с которым Ким произнес это важное слово. — О.Б.) не запятанных, попавших в диссидентское движение исключительно по подвигу своего сердца, и он продолжает служение Отечеству точно так же, как начинал его в застойные времена. Заплатил он за него по максимуму — семь, и пять у него было. Ссылка для него, по-моему, была хуже лагеря, потому что он был сослан в рудник на Колыму. Это ужас, что такое, но он достойно все это прошел и достойно продолжал... Абсолютно честный человек, абсолютно неподкупный. И он совершенно четко сознает свою позицию, с которой кто-то может соглашаться или нет, но она его и абсолютно искренняя.

— **У многих людей, вы ведь знаете, появилось ощущение общего упадка и надвигающейся гибели — чего? У вас такое ощущение есть?**

— По моим наблюдениям, все наше общество охвачено страхом. Страхом перед новизной наших перемен. И этот страх по-своему трансформируется у каждого: у интеллигента это боязнь возврата коммунистов или деградации демократов, у рабочих так, у обывателей эдак, у коммунистов тоже свой страх. Мне кажется, это инерция наших привычек, инерция нашей жизни — инерция одной из наших привычек во всем полагаться на кого-то или на что-то. А привычка такая была потому, что всю ответственность за нашу жизнь вплоть до самых интимных ее сторон брало на себя политбюро. Как-то мы с приятелем полувесело, полугорестно занимались анализом личных неурядиц, и все, буквально все упиралось в советскую власть. Вот, мне кажется, новейшие времена с беспределом свободы и возможностей немедленно повышают ответственность перед самим собой, перед семьей и прочее. Отсюда растерянность и страх. Почувствовать, что свобода — естественное состояние человеческой жизни страшно людям, которые к этому не привыкли. Свобода — это вообще трудно.

— **А вы в стол писали?**
— Дело в том, что я всегда был писателем для публики. То есть я писал пьесы либо песни для театра и кино. Я всегда был связан с каким-нибудь рабочим коллективом. Поэтому я писать в стол не научился. Правда, было несколько вещей в стол написано, но они потом быстро оттуда вышли, но это не было в отличие от Галича моей главной работой. Поэтому когда рухнула цензура, для меня это имело значение — но какие-то тоже чрезвычайно важные вещи я написал уже тогда. Например, я написал пьесу о Фаусте, я написал свой вариант шекспировской комедии "Как вам это понравится?", для меня очень дорогой...

Вот, извольте видеть. Взял и переписал Шекспира. В общем, на него это похоже. Собственно, другой человек не смог бы написать песни, которые много лет большая страна распевала на всех домашних праздниках и дружеских застольях — это когда поют только то, что само поется. Но в душу сначала надо попасть. Как говорится, очкарик отделался легким испугом: песни из "Бумбараша", "Двенадцати стульев", "Обыкновенного чуда" будто были всегда, и не он их написал, а они на грядке выросли.

Купец помрет за деньги, Попа удашит жир, Солдат помрет за чью-то Корону, А я помру на стеньге За то, что слишком жил — И все не по закону!

Удручает в Киме обманчивая внешность. Дома, в клетчатой рубашке и с тихими речами, похож на филателиста. На сцене, в коричневом костюме не от портного, а из магазина, без галстука, с гитарой, похож почему-то на индейца, которого скво заставила приехать в большой город. При этом не покидает чувство, что вот-вот он достанет из-за пазухи рогатку. На вопросы отвечает все наоборот. Спрашиваю, любит ли путешествия, — говорит, что любит, но хочет на Камчатку, а в Америку не хочет. Все твердят, что за границей трудная аудитория, он улыбается — легкая. Есть у него замечательные цирковые песни. Спрашиваю, что любит в цирке? Отвечает — фокусников и клоунов. Прямо вот так и сказал: "Если показывают по телевизору, смотрю не отрываясь". Представляю себе, что это был за учитель, — с журналом под мышкой, а сам написал песенку, и в ней: "Бей баклуши, а уроки не учи!" С другой стороны, заставлял учить знаки препинания. И вдруг я догадалась: он похож на учителя и ученика одновременно.

Про детей и про детское

— ...Я был дружен с Юрой Ковалем, это мой институтский товарищ. И я многому у него научился. Например, внимательному отношению к речи, которая адресована и ребенку, и взрослому и стремится к такой простоте, к которой призывает в первую очередь детское восприятие. В этом смысле это мой идеал. Мне какое-нибудь трали-вали-ай-люли гораздо важнее, чем что-нибудь философское с загибом. Хотя я и Бродского люблю. Но и у Бродского, если разобраться, в основе лежит такое же детское отношение к делу и к миру. Вот это по поводу творчества. А что касается вообще детей, то я говорил, говорю и буду говорить: если раньше во времена застоя послужить отечеству и положить жизнь на алтарь означало пойти в диссиденты, то сейчас, если человек жаждет гражданского подвига, — надо идти в школу. Или в журналисты. Это два самых благородных и позарез необходимых поприща.

Удивляетесь, что я упомянул журналистов? Настали времена правды, которая никогда не была возможна в России. Всей-сей правды никто никогда нигде не пишет, я не об этом. Но вот сейчас многие говорят, что наша пресса ангажирована, нет никакой свободы слова. А я при этом думаю: вот вы говорите, мол, вольно кричать на каждом перекрестке, что Ельцина надо менять, забывая о том, что величайшее благо, что можно на каждом перекрестке материть Ельцина и тебя не посадят. Другое дело, что толку от этого... Но толк будет. Позже. Это вообще глупо — дожидаться немедленного толку от того, что ты крикнул на перекрестке. А журналистика, она проникает во все дырки нашей жизни и нужна как воздух.

27 сентября у Кима был концерт в Политехническом. Он вышел на сцену и начал с того, что последний концерт в этом зале у него был совсем недавно, 28 лет назад. Между прочим, в зале было много детей. Правда, дети какие-то неправильно. Они знали все его песни и бурчали, когда он исполнял не то, что они хотели.

Перебирая струны перед очередной песней, Ким неожиданно заметил, что больше всего ему удался образ змеи подколодной.

Что прикажете с ним делать?

Да, кстати. Отвечая на мои вопросы, Юлий Черсанович часто поминал своего незабвенного друга, детского писателя Юрия Ковалева. На всякий случай я взяла книжку Ковалева "Пять похищенных монахов" и открыла наугад. В "Кратком описании некоторых слов, которые не вошли, к сожалению, в текст повести" значилось и слово "любезный".

Вот объяснение: "Я думал, что этого слова нет в повести, а оно имеется на 186-й странице".

Ну да, а в книжке всего 158 страниц...

Интервью с величайшим волнением записала Ольга БОГУСЛАВСКАЯ. Фото Александра ИЗOTOBa.